

КАТАСТРОФА

Когда он снимал штаны, из кармана выпадал и закатывался по кровати синий шарик с нанесёнными коричневой краской материками. Жена по утрам не забывала вернуть земной шар на место.

Он уже неделю не ночевал дома. Агентство «Новости» было прозорливо: ему годилось всё, что творилось в мире. Трагедии и катастрофы долетали и вязались в узел здесь, в этих кабинетах. Он же был энергичен и кудряв. Он был главным.

Иногда к нему с юга приезжала гостья. Она звонила жене – отметить, что приехала. Он всегда был где-то около, когда она звонила его жене.

Так лучше, думала гостья. Лучше пусть она знает от меня, что я уже здесь...

В этот приезд позвонить было некуда: он получил новую квартиру, и телефон ещё не поставили. Значит, не исключены случайности, решила гостья. Но это не по моей вине.

Она наблюдала сумасшедшую жизнь: седые кудри разметаны по плечам, всё на бегу, всё сразу и без продыха.

– Мне не нравится твой застенчивый способ самоубийства, – пеняла ему гостья. – Слишком много форте. Ты же советский человек, штатовского темпа тебе не выдержать...

Три дня они свиданичали – из кабинета в кабинет, из агентства в представительство, отсюда в кафе – и вновь в агентство... Они только и могли молчать и смотреть. Не было ни сил, ни времени.

– Да, – отвечал он односложно, – конечно. Но, наверно, другого времени не будет... Это уже нормально.

У неё привычно твердело сердце от сострадания. Он вытеснил жизнь работой. Работа пожирала всё.

– Кудри некогда подстричь?

– Некогда, – сокрушался он.

– Ты похож на потасканного спаниеля...

Он невпопад спросил, куда она потом. А она показала фотографию мужа. Искося взглянув, он заметил:

– Лицо стало ещё характернее. Где это он?

– На судне, у берегов Вьетнама.

– Оставь мне, – попросил неожиданно.

Когда спускались в тесной кабине лифта, не глядя друг на друга, он вдруг неловко и потому очень крепко обнял её. Целовал быстро, как всё теперь делал. Лифт остановился, и они освобождённо выскочили, чтобы тут же сесть в тесную машину и ехать дальше. Им везде было тесно вдвоём.

К полуночи вернулись в агентство и остановились в коридоре. Гостью знобило.

– Столичные дожди... Бр-р! – передёрнулась. – Промозглые. Наши лучше.

Он, разглядывая её в сумраке коридора, согласился:

– Да, – наши гораздо лучше. У нас уже бабье лето?

– Наверное, – сказала тихо, – мы обвенчаемся. Благослови нас.

– Нет! – он смотрел напряжённо. – Нет, – повторил ещё раз требовательно. – Ты же знаешь, я не вхож в церковь.

– Что же, самой решать? Опять самой...

Он молча глядел, всё так же напряжённо. Потом протянул свой свитер:

– Утепляйся.

И спросил:

– Ты как относишься к шарикам?

Она тут же протянула ладонь, и он, улыбаясь, опустил в неё земной шар.

Открылась дверь. И вошла жена.

Замер над ладонью взлетевший шарик. Шлепки компьютерных клавиш стали отчётливее. Кто-то прокричал его имя. Звали к телефону. Его убегающий взгляд скользнул к дверному проёму и сам он уже бежал на зов.

– Здравствуй! – сказала гостья жене.

Жена посмотрела на его свитер с размашистой надписью «Сан-Франциско» по груди гостьи и, с усилием отведя взгляд, пошла вслед за мужем. Гостья тоже пошла, автоматически подбрасывая шарик. Жена прислонилась к дверному косяку.

Он говорил в трубку:

– Я не могу сейчас к тебе приехать, я буду мебелью домой перевозить...

– Какую мебель! – не выдержала жена. – Ты сейчас повезёшь домой меня. Я жена, а не мебель!

И, гневно обернувшись, перехватила взлетавший над ладонью гостьи земной шар, чтобы вернуть на место. Она сжала его побелевшими пальцами и сковырнула Японию.

ОНА УЖЕ ГЕНИАЛЬНА

Подъезжаем вдвоём с Зиной к дому, торопимся, таксист успокаивает – успеваем!

Видим, что из подъезда выносят гроб, возле него суетятся две женщины, обе недавно кремированные. В это время жизнь вернулась на круги своя.

Всё происходит очень медленно, выносят гроб, ставят на табуретки.

Подхожу близко, гроб красным атласом оббит, в нём лежит одна из только что стоявших рядом...

И вот одна из стоявших, вот она уже лежит, в красном атласе, мертво смотрит в небо белыми пуговичными глазами!

Говорю шепотом:

– Она живая, – она же, – кричу, – живая!

На меня смотрят эти двое, вышедшие из парадной, их похоронили недавно.

Мне что-то отвечают, всё происходит, как во сне или замедленной съёмке, и уже подтянулись люди, уже их много...

Сон.

А эти двое страшно смотрят на меня.

И Зина смотрит, и все пришедшие на похороны смотреть – смотрят на меня.

Зина говорит:

– Какой сюрр!

А я пытаюсь прощупать пульс на шее мёртвой, глаза её все так же широко открыты и смотрят, ничего не выражая, в небо.

Пульс не прощупывается, и вдруг судорога проходит по телу и лицо искажается, и тело пытается приподняться, я обнимаю, глажу волосы и лицо, говорю:

– Мама, мамочка, – говорю, а мама кричит: – Уберите, уберите от меня эту девочку!

– Почему? – потеряно спрашиваю.

Меня оттягивают, схватив резко и грубо.

– Почему? – кричу я.

Мама отвечает затруднённо:

– Потому, потому что я уже гениальна, а тебе сюда нельзя. Уберите девочку от меня, – кричит мама, – ей нельзя сюда!

Зина всё так же растеряно повторяет:

– Какой сюрр, нет, вы видите, это же сюрр...

Кто-то Зине отвечает, что это ей снится, а Зина орёт басом, кивая на меня:

– Ей это тоже снится? А кому это ещё снится?..

ЖИЗНЬ ПЕРЕУЧЕННОЙ ЛЕВШИ

Сегодня ночью это произошло. Нас догнала любовь. Наша не осуществившаяся, пропавшая за накотившими не нашими событиями любовь.

Наверно, есть такое место, слой пространства и времени, в котором событие, начавшееся и тут же оборвавшееся по целому ряду неблагоприятных обстоятельств, – есть такое место, в котором событие не нарушает логики развития и – не обрывается. А происходит до конца.

В том условном месте, где я обнаружила нас ночью, спустя восемнадцать лет, начавшийся случай нашей любви развивался по законам живой жизни.

...Я ехала на велосипеде. Потом прислонила его к стене флигеля. Залезла на крышу. Здесь лежал альбом чьих-то семейных фотографий в плюшевой обложке. Бог весть, почему лежал. Бог весть, почему я залезла на крышу именно этого флигеля. Но когда я спрыгнула вниз, прижимая к животу альбом, велосипед уже оказался не важен. Потому что под деревом стоял ты и курил.

Я раскрыла альбом, и мы уставились на фотографию: ты был мальчик-мальчик, а я – почти взрослая девушка, коротко остриженная, худющая и счастливая.

Мы только что, два часа тому, – почти сию минуту, если считать назад, сразу за семейным альбомом, по моей психологической минуте, конечно, – расстались с тобой, отпраздновав в портовом ресторанчике сто дней нашего знакомства.

На полированную столешницу ты из подаренной мне чешской сумки высыпал «Метеориты» в разноцветной станиоловой упаковке. Свежие красивые конфеты с орешками. Ещё выгащил неизвестно откуда апельсин – огромный, в толстой пористой кожуре, с наклейкой ромбиком, замечательно смотревшейся на оранжевом фоне, – «Марокко».

И мы стали ждать.

– Чего ждём?

Но ты велел молчать и смотрел на часы.

– Официанта?

Ты покачал головой.

– Мы Время ждём, сейчас оно остановится, через две минуты – смотри...

Ресторанчик висел над морем – прозрачный, высоко поднятый в небо кубик.

В три стороны было море. Мы видели море. Мы висели в море – запаянные в голубой куб. А в центре на столе лежал оранжевый шар. Очень красиво!

Я прозевала две минуты. А ты – ты разломал всё объединивший центр, разломал, разделил пополам – и мы съели апельсин!

– Поздравляю! – сказал ты. – Поздравляю тебя. Ластонька моя, вот уже сто дней, как я тебя знаю.

Подошла официантка, или официант, я не запомнила. Коктейль, холодный от добавленного мятного ликера, был пьяным. Подействовал сразу.

Раздался звук, мы оба среагировали, звук, похожий на... – вот если бы кому-то пришло в голову сделать тонкую, длинную стеклянную иглу, нет, стальную, раскатать её... нет, сделать пилу! Раскатать пилу – до дрожи рождения звука, а потом резко пилу сломать... – и звук бы оборвался внезапно, с характерным тупым хрупом: сначала тонко, тонко, высоко, очень высоко, и – хрумк!

И мы поняли, *что* это сломалось. Это во времени произошёл сбой, и мы оказались обречены на несобытие. Какое-то время нам ещё оставалось, вот это: тонко, тонко, высоко, очень высоко – до нелепого «хрумк».

Мы приняли нашу судьбу. Мы знали точно – сто счастливых дней у нас есть. Этого у нас никто не отберёт. Сколько ещё выпадет – узнаем.

И я схитрила. Я решила положить в память, как в карман, мгновение, ты понял, какое. И положила.

...А сегодня ночью колёсики времени сошлись так, как надо было, чтобы второй раз в жизни, спустя восемнадцать лет, раздался опять – но уже в обратном звучании – хрумк: очень высоко, высоко, тонко, тонко...

Это стоило мне кисти левой руки. И я не повторила своей хитрости. Зачем? Я уже знаю, чего стоят такие хитрости. Целый век совершенно другой, не нашей с тобой, жизни, и вот теперь ещё – утрата левой руки.

Кисть завернули в целлофан и сказали:

– До завтра положите в морозилку.

Я представила, как она там лежит, между полкило говядины для супа и бычками для кота. И не захотела. Вот тут и появился ты. Не изменился только твой характер. Ты сказал:

– При чём здесь её холодильник. Какое завтра. Чуть. Сейчас. Сию же минуту.

И когда я открыла глаза, то уже была палата; забинтованная по локоть рука жутко болела.

Ты сидел рядом.

– Всего сутки прошли. Будем надеяться. Будем ждать. Вместе, – добавил ты как само собой разумеющееся.

Я поняла, что никто из моих ничего знать не может. А из его близких? И меня занимало, можно ли отсюда позвонить *туда*? И что *там* случилось со мной? И с ним. В наших отдельных жизнях.

Может быть, подумала я (так и подумала), может быть, одновременно, в тот миг, когда колёсики сошлись и мне перекусило левую кисть (хорошо, что не шею), в моём славном городе Одессе и его славном городе Симферополе осиротели подростки дети?

Я видела, что он не подумал. Никакой синхронности, надо же...

И я смутилась: то, что я делала, втихую и отстранённо, показалось неприличностью.

Так нельзя. Остаётся принять происходящее за реальность и оставаться в ней.

Я попробовала: как там с реальностью, данной мне в ощущениях? – И заплакала.

С ощущениями было всё в порядке. Левая рука ответила такой болью, что Сашенька наклонился и стукнулся лбом о край тумбочки – высокий, он вечно промахивался, цепляя углы.

– Ластонька, что?

Я редела в голос. А он гладил по плечу, и оно зверски болело, левое плечо, может – ещё больше, чем кисть.

Я ревела, он озабоченно и ласково гладил меня:

– Наркоз отходит. Значит, скоро разрабатывать кноть, всё будет хорошо, маленькая моя...

А виски у него были седые!

И я опять отстранённо подумала, что... ведь на четыре года я старше, и это у меня...

Но нет! Это не у меня, это у его матери, *там, тогда*, – были уже подкрашены...

Наркоз действительно отходил, и я опять вернулась в реальность слёз, поглаживаний и ласкового приборматывания:

– Разработаем руку, мячик теннисный купим, не плачь, усни, всё пройдет, спи, спи.

Как бы ни так, пройдёт! Куда оно станет проходить? Но всё тоньше, тоньше, тише становился Сашин голос, всё прозрачней его лицо, и рука моя, левая, туго перебинтованная, приживлялась там, под повязкой, прививалась ко мне, как яблоневого подвой на груше.

Цепляясь последним ощущением – болью – за ускользающую, истончающуюся реальность, плача и не соглашаясь с неизбежным, я засыпала под тихий ласковый голос:

– Спи, девочка, Ластонька моя, всё будет хорошо, любимая, спи.

МУЖСКАЯ ПРОЗА

У него было место 7«Г», а у меня – 7«В». Рейс Одесса-Париж.

...Он проходит мимо меня, будто мы и не сидели полдня рядом. Противный донельзя. Ногой толкает картонную коробку. В левой руке паспорт, в правой – зачехлённый ноутбук. Таможенник спрашивает, кивая на водку:

– Это что?

– Водка это.

– Посчитайте!

Посчитал.

– Нельзя, – удивлённо сказал француз. – Нельзя столько.

– Так не для одного же. Одесситы, – зычно закричал, – поднимите руки.

Двадцать рук поднялось на его голос.

– Видите, даже не хватает, – сказал.

...Так и шёл по зелёному коридору, толкая ногой свою коробку под понимающие ухмылки таможенников. Оценили.

...Он в машину загружался, когда я споткнулась. И круглая моя коленка обнажилась, и кровь побежала. И петельки капроновые побежали вдоль полной левой в английской «лодочке». Запихнул он свою коробку в салон машины и бросился ко мне. Клетчатый чистым платком промокнул ссадину.

– 3,14левин, – представился.

И я оказалась на заднем сидении машины рядом с водкой.

– Алкоголик?

– Почти, – ответил. – Писатель.

– Что пишете?

– Мужскую прозу, – оглянулся и застрял взглядом на раненой коленке.

– А зачем же...

– А поспорил, – заторошился он. – Сколько надо, столько и провёз, выиграв, как видите. И, кажется, вдвойне. А вы о чём спрашиваете? О прозе? О водке?

– О тебе!

Опять оглянулся не без интереса.

В общем, ящик водки он доставил по адресу. А меня – нет.

Четвёртые сутки я смотрю на Париж из окна его мансарды. А меня разыскивает мой 3,14касо. Я сообщила ему о приключении, но в студии, как договаривались, не появилась. Иногда мы с пИкасо переговариваемся. И всякий раз, звоня ему, я смотрю в расщелину улицы. Парижане кажутся приплюснутыми высотой. Они бегут под зонтиками, словно грибница передвигается с места, торопливо шевеля шляпками, разноцветными, как сыроежки.

– Думаю, еще не завтра появлюсь, – сказала сегодня 3,14касо.

...3,14левин почти не спит. Задумчиво трет виски. Глядит в монитор, смаргивающий текст. Правая кноть пИлевина легонько подрагивает, шевеля мышкой. Бежит строка: «Куда идёшь-то, – крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, с ломом в руках стоявшая за воротами».

Любочка – это я.

Я сказала пИлевинову, что иду, наконец-то, в студию. Уже пятые сутки иду. И вообще... Сидение начало раздражать.

За пять суток я похудела на пять килограмм: было от чего. Но мне уже стало скучно, скучно смотреть медленное шевеление строчек на марше. Скучно смотреть на шевеление грибницы внизу. На идущий дождь. И окно у него давно не мыто...

Тусклым голосом пИлевин сообщил, что ему пруха пошла. Хорошая проза. И проворчал:

– Не сбивай с ритма и сиди, сколько положено сроком.

Срок он сам определил.

Монитор высветил: «А если провод под током разорвать, что будет?».

Я закрыла пИлевину глаза поцелуем, и сообщила, что читать скучно.

– Меня или вообще?

– Читать так долго. Ты медленно пишешь.

На нас наступали шестые сутки.

В три утра позвонил пИкасо, и автоответчик оповестил (трубку мы не снимали), что какого чёрта, совесть нужно иметь, а если ты шлэндра, то это проявится в натуре, картина отобразит, и ты себя за локоть укусишь, потому что я выставлю её на вернисаже.

пИлевин прислушался, сбился с ритма, спросил:

– Портрет? В каких тонах?

– В цвете беж.

– И без? – спросил задумчиво.

Задышала потом, совсем как я перед звонком. Тут всё и кончилось. Он сразу зашевелил правой кистью, чем раздражил меня окончательно. Остывая, спросила:

– А экономический эффект какой ожидается? Этих твоих шевелений? – и хлопнула его по руке.

– Это обязательно надо? – раздражился пИлевин.

Но тут же опять пальцы его побежали по клавиатуре, а по экрану – строка: «...или расчёт экономического эффекта, или акт его отсутствия. Ещё нужен акт его использования».

– Как используют акт?

– Как повкуснее, сладкая моя, – рассердился вдруг.

И опять он сидит, уставившись в голубое мерцание, и правая кисть его вздрагивает.

Монотонно, дремотно стучит дождь в мансардное окно. Стекло цветными разводами размывает мерцающую на противоположной стороне уличного провала вывеску кафе «Катманду».

Мы периодически спускаемся туда перекусить, устав дышать часто, как лошади, загнанные прыгающим ритмом строк...

Вновь автоответчик сообщил голосом пИкасо, что неделя на исходе, что пора пИлевину роман закончить, и пора ему, 3,14касо, начистить пИлевину ряшку, и что он, пИкасо, ждёт притомился. Не у одного пИлевина процесс, и если ты, со своим романистом, сейчас же в «Катманду» не окажешься...

То вести из Катманду взбудоражат три города как минимум, потому, сообщил автоответчик, что он, пИкасо, в «Катманду» уже есть, и разбил столик на равнобедренный треугольник, и – вы ведь меня слушаете? – ты, муза в квадрате, спускайтесь для поесть и поговорить, не нарываясь на повторное приглашение. Или я скажу вам, что будет дальше.

И мне уже не было скучно. Я возбуждённое поглаживала пИлевина за ухом, голос пИкасо заводил, и ухо пИлевина твердело под моей рукой. И когда я нежно прикусила его подзатылочную убегающую в ворот свитера складку, пальцы его быстрее забегали по клавишам: «Сколько раз тебе говорить – никогда не надо забегать вперёд...».

– Сколько раз тебе говорить – никогда не надо забегать вперёд, – считала вслух автоответчику.

И переспросила пИлевина:

– Не ошибся, кому? пИкасо? Любочке?..

Дождь добарабанился до точки. Мы с пИлевиным вошли в «Катманду». 3,14касо приглашающе рукой помахал. На столике перед ним стояли фужеры с игристым красным, и нервно дымилась сигарета в пепельнице.

Присели не здороваясь. Три фужера звякнули.

пИлевин 3,14касо сказал:

– Finite...

– Finite, – подтверждающе отозвался пИкасо.

Оба заговорили, агрессивно перебивая друг друга, что:

– ...доводить необходимо до напряжения невероятного...

– ...тутая ткань жизни, пока слово не брызнет бисером...

– ...пока краска не подсохнет, не свернётся струпом – ждать, ждать, чтобы сквырнуть лишнее, смыть к чёрту растворителем до чистого света, проявить прозрачность...

– ...звук, потому что, в резонанс входя...

– ...и тогда на грани деформации...

– ...исправление искажения невозможно без горлового напряжения... нахлынет горлом и всё, таки да...

Что-то подсказало счастливую мысль, что если я смогу, надо сбежать сейчас и сделать...

Получилось! Запыхавшись, взлетела по узкой лестнице под крышу, утонула взглядом в замершей на точке строке, и пальцы заторопились по клавиатуре: «Вдруг у Любочки возникла счастливая мысль, что-то подсказало ей, что если она сможет встать и выбежать в коридор, всё произойдёт... Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным».

Кисть моя дрогнула, как шесть суток вздрагивала кисть ПИлевина, я дописала последний, завершающий абзац рассказа шестидневной выдержки. Неожиданно потемнело. В темноте я так и записала: «Неожиданно погас свет и, пока она на ощупь искала ручку, на неё сзади навалилось...».

В этот момент затрещал телефон, и голоса ПИкасо с ПИлевиным, переплетаясь, заорали с автоответчика:

– Горячее подают, спускайся, если ты там.

...В кафе меня не ждали. Три порции горячего покинуто дымились. Официант сказал:

– Приятного аппетита. Молодые люди заплатили.

Я съела все три порции, дошла игристое красное из всех бокалов. И наступило хорошо.

...Спустя три года, поджидая Мсье в его кабинете, я дочитывала последний абзац рассказа «Вести из Катманду». Хозяин кабинета запаздывал.

«...А когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась...».

Торопился вошел Мсье, глянул на книгу с жёлтой стрелой на обложке, хмыкнув, заметил:

– ПИлевин это некошерно!

Зазнобило – как теперь выкрутиться из этой странной истории?

– Это Москва... – начала я мысль...

– Это Лев! – прервал Мсье, и рассказал анекдот про зайца, позвонившего льву и ох...евшего от разобравшей храбрости в эпоху тотального разгула демократии.

Возле дивана – да по всему кабинету, стояли бутылки с разным и крепким, все слегка попробованные, оптимистически полные больше, чем наполовину. И пошла я, оттягиваясь, отогреваться.

...Он сидел за столом, что-то быстро набирая на компьютере, рука его, не вздрагивая, плотно накрывала мышку...

Совсем другая рука, надёжная. Не как у ПИкасо, не как у ПИлевина.

Мсье спросил не оглядываясь:

– Из пяти бутылок уже попробовала?

– Сосчитал?

– По булькам, – рассмеялся.

– А знаешь, – сказала я, – «Вести из Катманду» в том же виде, в каком возникали на мансарде. Представляешь, ничего не изменено.

– Не примазывайся, – ответил, – к постмодернизму. – Ты типичная модернистка, у тебя не получится мир переделать. Только довообразить реальность! И вообще, положи с прибором на эти ваши «Вести»...

Взял «Жёлтую стрелу» двумя пальцами, открыл окно – и пальцы разжал.

Так закончилось парижское путешествие в невыдуманный рассказ «Вести из Катманду», появлением моего портрета на вернисаже в галерее «La Maison Rouge» и моим возвращением к Мсье с этим портретом под мышкой. Закрупившийся роман ПИкасо с ПИлевиным обеспечил портрету успех, всё своё нежданное счастье вложил художник в мою улыбку. Написана я была безжалостно счастливой.

Мсье недолго разглядывал портрет.

– Убери с глаз долой, – сказал со странной интонацией.

– Куда?

– Маме подари, свинёнок.

Напрасно мсье это сказал. Разобидевшись, я повесила портрет прямо над его письменным столом. Чтобы отвлекать и мешать. И у меня это получилось.

За окном Александр-хаоса, расплескивая лужи, чувствовались машины, зонты, и казалось, что парижская грибница переползла сюда, поближе к набережной, почти под кинотеатр «Ударник». Я встала, подошла к окну, проверила.

Как ударило: так и есть! За окном Париж. Лёт дождь, на остановке стоит троллейбус. Напряглась и вспомнила вялую фразу ПИлевина: «Троллейбус уже тронулся, и теперь надо прыгать прямо в лужу».

Надо... значит... Если по-мужски.

КСЕНЬКА И ПОЭТ

Погода стояла жаркая, сухая. Люди вешали на окна простыни и брызгали на них водой из пульверизатора. Белые флаги сдавшихся на милость природы москвичей зывали к прохладе. Каждый первый покупал вентилятор с большой лобастой головой. Хотели дождя. Выискивали в белёсом небе тучку. Рассказывали друг другу, как им млостно от зноя. И что в Москве летом жить нельзя. А надо в деревню, где коза с молоком и речка парная под боком.

Я жила в июльской Москве, была счастлива и не мешала мне настоящая на известке и асфальте пыльная духота. Просыпалась я от карканья ворон, треньканья синичек и чирикания воробьев. Ещё пахли розы из моего повторяющегося сна: много лет назад было утро в южном городе, когда, проснувшись, я обнаружила, что руки у тебя, спящего рядом, до локтей испараны, а по всей комнате разбежались тазы, банки, вазы, чайник. И во всём были розы. Белые и красные, жёлтые и розовые, бархатные и чайные.

Твоё мне поздравление.

Я счастлива своим воспоминаниям о самом-самом дне моего рождения. И этого счастья мне хватило до сегодняшнего дня. А день не задался.

Пришёл Пиня, соседский пёс, и написал на тряпку под дверью. Пришли тараканы рыжие и всё на столе истоптали хрупкими, прозрачными лапками. Милиционер пришёл, спросил вид на жительство, но я не открыла ему, проводив взглядом через глазок.

В новостях говорили так и о том, что было понятно: ты в Кремле в Белом Доме на загородной даче Клинтона в гостях у Пиночета пьёшь солёный чай с Чингисханом и говоришь о любви с Ким Ир Сенем.

Ты очень занят и мне не позвонишь.

Надо ли писать, что мне ненавистны Кремль, Белый дом, чужая дача, все эти путаники и диктаторы?

Нет, я ничего не хочу взрывать, у меня к ним глубоко личное, а не контрреволюция. Я перетерпело их – и дождусь, когда однажды вечером революция сдохнет сама собой.

Вечером ты позвонил в дверь. И внёс в комнату очень большой букет тёмно-бордовых роз. Я спросила: и никаких революций?

Ты подтвердил, и я поняла, что счастье – величина неизбывная. Мы сделали с тобой так, что от счастья у меня по щекам потекла тушь. Ты прижал меня к груди, промокнул чёрные слёзы грудью, как обычно, и мы поехали по остывающей от жара Москве праздновать очередной мой день рождения.

И всё бы хорошо, но рядом сидела Ксенька. Смотрела внимательно. На ней были мои строгая чёрная юбка и белая кружевная блузка. Тело у неё сбито и проворно. Руки хваткие, крепкие. Голос командный. Слова доходчивые. С ней надёжно. Если ей верить. А если допустить, что у неё своё дело на уме, то поймёшь, что сама ты шланг, пнурок, полная и круглая идиотка.

Но я Ксеньке верила – и не допускала. Поэтому она второй месяц жила со мной в московской жаровне, подставив плечо под мою житейскую корзину, оказавшуюся мне не по силам. И сегодня Ксенька наблюдала моё счастье.

В ресторане было хорошо. И вдруг всё оборвалось.

...Я сидела на ступеньках, стёртых и ленивых, и считала, сколько раз мимо меня прошли ноги. Ноги прошли девять раз. Была ночь. Пахло кошками. Метро не работало. Идти было некуда. Да я и не знала, где, в каком районе, находится эта лестница.

Ксенькин голос звучал в ушах. Говорила она: «Я не люблю его, но как хорошо-то мне с ним. Представляешь, – говорила Ксенька, – мы стоим под балконом, а ключей нет. И вот мы лезем на второй этаж. Ну, он – ладно, он полковник. А я-то – я. И вот лезу. И всё у нас класс.

А потом приходят дети, а мы пьём на кухне чай, а дети говорят, ну ты, мать, даёшь. Молодец наша мать, – говорят дети полковнику и друг другу».

Дети у Ксеньки молодожёны. Им всё в восторг. А Ксеньке не всё. Она говорит: «Вот всем он прекрасен, кроме того, что полковник. Я не могу примириться. Ладно бы, был войсковой какой, а то ведь из фирмы. Он, правда, разведчик вроде, а не говнист. Но поди разберись, когда из фирмы. Поэтому ничего у нас с ним не будет».

Я смотрю на неё сквозь мрак этого странного места, не понимая, как мы сюда попали: лестницы и всё такое, – и думаю, а чего не будет, когда и так всё есть? И через балкон, и всё класс, и чай с детьми. Это никуда уже не денется, уже будет жить в памяти. Молчала бы о фирме, если только это и жмёт.

А голос Ксеньки обороты набирает, разрастаясь в рассказ.

И, наконец-то, достаёт меня московская духота. Кошками, опять же, воняет. И место вместо ресторана чёрт знает какое.

Спрашиваю: «Ксенька, мы как с тобой здесь?»

Рукой махнула – неважно, мол.

Говорит Ксенька уже не мне, а кому-то, кто меня хорошо знает: «И вот мегера стоит, плачет, а фурия бегаёт и вопит. А моя Забота – прощается со своими».

Эта вырванная из контекста жизни фраза доконала меня. И тут ещё духота московская. Я разъярилась до взрыва.

Тут машина и приехала. Мы бы поехали к тебе. И всё было бы хорошо. Но рядом сидела Ксенька и наблюдала.

Поэтому отвезли нас не к тебе, а в Измайлово, в съёмную квартиру, где и стояла моя неподъёмная житейская корзина. А на столе, в трёхлитровом бутылке – твои тёмно-бордовые розы.

Спала я в эту ночь крепко. На рассвете закаркали вороны. Ксенька прошлепала на кухню делать зарядку. Она следит за своим телом. Она сморкается по утрам, как... ну, не знаю... как мужик, что ли, прочищая дыхание. А потом этими руками готовит завтрак.

Ладно, мало ли, кто и как приводит себя в порядок по утрам.

Ксенька не любит, когда ограничивают её свободу. Под свободой она понимает возможность жить и действовать по своим представлениям. У неё своеобразные представления и о жизни, и о возможностях свободы.

Состоит Ксенька из комплексов. Один не развязан до сих пор. Это узел из мужчины и собаки. И мужчин, и собак Ксенька боится. Они у неё похожи друг на друга – и морды, и лапы, и клыки есть, и хвостами виляют – вроде улыбаются, а потом укусят. Так вот, чтобы не кусали и чтобы не пугаться, Ксенька кусает первая.

Поэтому Ксеньке нужен психолог. Чтобы она пришла к психологу и сказала – вот у меня какая проблема: всех кусаю рано или поздно. И мужчин, и собак. Много визга и шерсти во рту. Помогите. А психолог поможет ей.

Но у Ксеньки не получается пойти к психологу.

Недавно пришёл в гости совсем пьяный поэт, очень похожий на большого мохнатого пса.

Ксенька ему уже говорила в прошлые разы, чтобы пьяным не приходил. Ни за что.

А он пришёл. Он пришёл, а её дома нет. Пока. Пока я одна дома. Поэт говорит, что я ему нужна, чтобы кофе сделать. А вообще – не нужна, потому что – «Ксенька где?».

Я кофе подаю и отвечаю, что шёл бы ты, дорогой, домой. Спать. А он хочет Ксеньку. Я ему беседу к кофе – про жену, про детей, – а он: «Ксению хочу. А Пенелопу не хочу». А детей не приплетай, – говорит, – всё равно эту шалаву дождусь.

Метро уже тю-тю, пятнадцать минут второго. Из дома-то в ночь не выставишь поэта. Поэт он хороший, когда в книжке. И когда трезв. А на нашей кухне он-то не в книжке. Это он в комнате в книжке, а на кухне – весь. Целиком. И пьян до безобразия. Но тихий. И говорит со мной о «чувствах к Ксении».

Я очень спать хочу, и дышать мне возле него трудно. Не знаю, как пахнет сивуха, но он, по-моему, пахнет хуже. Я терплю. И оба её поджидаем.

Наконец, является и тоже... не без того. Но у неё шофе поменьше.

Увидела Ксенька пьяного поэта и стала адский огонь на поэта изрыгать. Вот прямо стоит – и изрыгает. А он вокруг неё бегает, суетится: «Умойся, – говорит, – полегче станет». А она сквозь огонь ему: «Знать тебя не хочу, ты зачем здесь такой? Ты чего пришёл пьяный?». А он к ней руки тянет. Взял за плечи, она плечами как дёрнет: «Иди! – со злостью говорит, нескрываемой злостью, даже с омерзением. – Иди отсюда прочь!».

А он растерянно: «Ты меня гонишь? Всё кончено, значит? Подтверди».

Она как даст ему пощечину.

«Ну, – сказал, – я пошёл. Где тут у вас окно?»

И вышел – с третьего этажа. Не сразу вышел, посидел минутку поперёк узкого подоконника, в глазах успел трезвый ужас проявить, пока ждал, что его остановят. Останавливали. Но в ступор вошли от ужаса.

И полетел он всеми своими девяноста двумя килограммами в густоту ночи. А там – асфальт. А здесь – немая сцена: те же минус поэт. Очень хороший поэт, между прочим. Своё место в литературе уже нашёл, и останется.

Вот так Ксенька кусает своих собак.

Мы к психологу обратились, и к адвокату тоже – чтобы Ксенька могла дальше без ужаса от произошедшего жить.

Психолог и адвокат объяснили, что не виновата она. Он сам к ней пришёл. И ушёл, как и куда сам захотел. А выбор, через дверь или через окно, тоже сам сделал. Ксенька тут не при чём. Водка при чём и жизнь семейная.

Про семейную жизнь нам теперь многое понятно. И мне с Ксенькой, и жене поэта.

НЕ ПОМИНАЙТЕ ЛИХОМ

Нос большой. Кисти рук большие. Глаза огромные. Кожа светится. Химическая завивка. Тяжёлый шаг. Зовут Наталья Леонидовна. Мне сказали – идите, вас зовёт. Со всеми знакомится с двенадцати дня.

Было – половина четвёртого. Наталья Леонидовна действительно такая – и грузная, и светится. Сказала: – Я ваш новый директор. Хотите поехать в Москву? Нужно кого-то одного послать на курсы переподготовки. Мне хочется – вас.

– Почему меня?

– Вы работаете неполный год, а публикаций больше, чем у других за тридцать лет. Вы же в отделе публикаций работаете?

– Да.

– А работать хотите?

– Нет, не хочу. Я в принципе не хочу работать. Но из всех моих работ эта – наиболее интересная. Только страшно.

– Что вам страшно?

– А нет ничего страшнее документов, они после жизни и вместо жизни. После – мне ещё понятно, а вот вместо...

– Да, – сказала Наталья Леонидовна, – я заметила, что тематический разброс у вас – ужасно и ещё более ужасно.

– У меня катастрофическое сознание.

– А я думала, карнавальное.

– А с чего это вы так думали?

– А с того профсоюзного собрания, на котором вы всем сообщили, что профсоюз – дело добровольное, и потому вы добровольно его покидаете, положили профбилет на стол и вышли без дальнейших объяснений. Мне рассказали, я и подумала: карнавал. Так поедете в Москву, в историко-архивный?

– Поеду.

– Ну, тогда идите, пока работайте.

Так мы познакомились.

У нас противные приморские декабри. Мряка, холодный бисер моросит, ветер с моря – кажется, в каждой дождинке песчинка, царапает лицо. В это время в Одессе тоскуют все.

...Мы с директрисой шли вдоль по Пушкинской, и Наталья Леонидовна говорила:

– Вы понимаете, я ничего не могу сделать, он очень хороший мальчик, но иногда ему кажется, что – самый плохой на свете. И чем больше я его уговариваю, что нет, хороший, тем больше он не любит себя и думает, что плохой.

Махнула рукой и вдруг:

– Послушайте, он вырос из пальто. Хорошее пальто, у вас ведь двое, вдруг кому-нибудь из ваших мальчишек пригодится. И посмотрите заодно на него внимательно.

– На пальто? – спрашиваю.

– Да нет же, на Сашу. Я уже знаю, вы увидите главное. Я вас очень прошу, скажите мне, что это за главное, что главное в нём.

Я, когда пальто забирала, смотрела, а Саша борщ ел. Бабушка его уговаривала показать маме дневник. Саша сказал, что ни за что не покажет, то, что в дневнике, маму огорчит. А я на него смотрела и видела – бездна.

И там, где дна нет, там и бабушка, и Наталья Леонидовна, и три птицы летят. Две всё выше поднимаются, а третья – в глубину.

Потом, недели через три, директор вызвала меня к себе в кабинет:

– Вы в Москву уезжаете через неделю, я вас очень прошу, когда вернётесь, не разговаривайте ни с кем до тех пор, пока у вас пара публикаций не выйдет. Просто молчите, пишите и публикуйте. А там я вам всё объясню. И так печально на меня посмотрела, что я всё поняла сразу.

– От вас требуют меня уволить?

– Догадалась.

– Вы же спасаете, в Москву отправляя. Я успею, сдам разницу, привезу вам диплом, вам же дипломированные специалисты нужны? Думаете, поможет? Я сделаю...

– А успеете?

...Я вернулась через три месяца. Первое, о чём она спросила:

– Зоя Михайловна, ну, что вы скажете мне? Что Саша? Я знаю, я ведь видела. Поняли вы что-то. Что?..

Что же мне ей, про пропасть, про птиц рассказывать? Про то, что жизнь кончилась? И только кто-то один живым останется. Но жив ли он будет. Всё ведь кончилось. Всё. Пропать. Бездна.

– Не говорите, не говорите мне ничего, – вдруг лицо руками закрыла.

Я рассказала ей, как интересно было учиться. Как потеряла в метро свой написанный диплом и написала новый, совсем другой. Как его защитила на «пятерку» с рекомендацией к публикации, но не знают, как и где опубликовать, потому что он и антигосударственный, и антисоветский, и антиленинский.

В «ЛиФ» взяли, и в «Огонёк» взяли... И молчание.

А диплом получила, вот – держите. Это аргумент для?..

– Ну, вот, так я и знала, – грустно сказала Наталья Леонидовна, – просто у вас не будет. Неужели обработали Бунинское стихотворение?

– Да, получилось.

– И «Окаянные дни» нашли? Сослались?

– Сослалась, нашла.

– Значит, специально написанный диплом в метро забыли, чтобы обратного пути не было?

– Вроде не нарочно.

– Нарочно, нарочно, – сказала Наталья Леонидовна, – я уже вас понимаю. У вас склонность к необратимым поступкам. Надо же, значит, успели экзамены все – и много досдавали?

– Много.

И я вдруг ей сказала фразу, которая повисла отдельно от нашего с ней разговора, как топор над головами:

– Мы и живём, Наталья Леонидовна, необратимо. И много проживаем, много больше, чем хотелось бы.

Она засуетилась, стала бумажки перебирать на столе. Когда нервничала, всегда покашливала. А тут прямо зашлась кашлем. Смотрит на меня исподлобья, спрашивает: что имеете в виду? А другие разве не так живут?

– Другие как-то иначе, – и я отвернулась.

– Когда вас вижу, – сказала Наталья Леонидовна, – боюсь чего-то. Нет, не вас, но боюсь очень. Такое ощущение, что возле вас сильный ветер.

– Наталья Леонидовна, в Приморске всегда два ветра сталкиваются, степной и морской. Возле меня какой?

– Ваш ветер не пахнет морем. Пахнет солнечной пылью.

– И моя мама тоже так говорит...

– Знаете, как это страшно – запах солнечной пыли? Мне кажется, так пахнет смерть. Потому что запах сухой земли, по ветру развешенной: пыль, пыль – и большой ветер. Вы что-то знаете о смерти? Чьей?

...А я опять увидела: одна птица – в бездну, а две – в глубину неба, синего-синего. Посмотрела на директора, она плакать начала.

– Что, спрашиваю, что – с Сашей что-то?

– Нет, – отвечает, – с вами. Всё равно уберут вас из архива, не дадут работать.

А я о другом в этот момент думала. О страшном.

Ну, в общем, в архиве мне работать не дали. Пролитли на чугунную винтовую лестницу подсолнечное масло. Что было делать? Аннушка уже масло пролила! – вспомнила я Берлиоза...

Вымыла лестницу с порошком. И подала заявление об увольнении.

Спустя время позвонила мне секретарь, рыжая Танька. Сказала голосом тусклым и кашляющим, как Наталья Леонидовна кашляла:

– Зой, а у нас похороны. Приходи. Он их топором зарубил.

– Кто, – спрашиваю, – кто их зарубил топором?

А Таня удивленно:

– Ты не о том спрашиваешь.

– Я знаю, – говорю, – я знаю. Наташу и маму её, да? Не говори мне ничего, я всё знаю.

– Откуда? Так ты придёшь?

– Нет. А Саша где?

– Сашу забрали.

– В больницу?

– В больницу. Тюремную.

– Ну, всё, всё, не выйдет оттуда. Квартира у них хорошая.

– Да, – говорит Таня, – все об этом говорят. Хорошая квартира.

В эту ночь я не спала. Сидела на кухне, курила. А потом взяла Сашину зимнее пальто, в котором мой сын теперь ходил, и ножницы...

Я его распарывала, распарывала, до утра. А утром выбросила в мусорный бак. И подумала: никто его носить не будет. А сыну утром в школу идти.

– Мама, – говорит, – мама, где моё пальто?

– Висит на месте... – соврала.

Всей семьёй искали пальто. Так и не наши. Удивились. В этот же день купили новое.

Так я никому ничего не объяснила: ни почему на похороны не пошла, ни куда пальто делось.

На сороковой день влетел в комнату голубь. Он бился о стекло книжного шкафа в том месте, где стоял путеводитель по архиву. Не смогла поймать голубя. Испугалась его повредить. Я просто ушла из дому, оставив балконную дверь открытой. А когда вечером вернулась, все притихшие были...

– Что случилось?

Сын сказал:

– Мама, у нас голубь о шкаф разбился.

– И?

– Не пугайся, – сказал сын, – мы с Игорьком похоронили. Ты не рассердишься – в коробке из-под твоих новых туфель? Он, наверное, перепутал стекло шкафа с оконным стеклом. Бился, бился, бился об него.

С тех пор я ни разу не открывала путеводитель по историческому архиву. Я вообще эту книгу не трогаю. Не смотрю на то место, где она стоит. И даже не знаю, есть ли она теперь на полке...

Мне кажется, если открыть путеводитель, стрелки часов пойдут в обратную сторону, время отступит вспять. Я боюсь, что всё повторится. Я только не знаю, где и когда. Но обязательно повторится.

Прошло много лет. Саша не выйдет в общий мир людей. Он теперь пожизненно – при тюремной больнице. Выучился на священника и вжился в работу. Построил часовню. Мне сказали, очень человечный батюшка, имя у него теперь – отец Леонид.

Отец Леонид недавно прислал письмо, мне передали. Написал: «Каюсь каждый день. Не поминайте лихом, Зоя Михайловна. о. Леонид». Потом зачеркнул и написал: «Саша».